

## БИБЛИОГРАФИЯ

### АЛЬМАНАХИ 1830 года.

Денница, альманах на 1830 год, изданный М.Максимовичем. — М., в универс. типогр. 1830 (LXXVIV--256 стран, в 16-ю д. л., с гравир. заглав. листком)<sup>\*40</sup>

В сем альманахе встречаем имена известнейших из наших писателей, также стихотворения нескольких дам: украшение неожиданное, приятная новость в нашей литературе.

Но замечательнейшая статья сего альманаха, статья, заслуживающая более, нежели беглый взгляд рассеянного читателя,

115

есть “Обозрение русской словесности 1829 года”, сочинение г-на Киреевского. Автор принадлежит к молодой школе московских литераторов, школе, которая основалась под влиянием новейшей немецкой философии и которая уже произвела Шевырева, заслужившего одобрительное внимание великого Гете, и Д. Веневитинова, так рано оплаканного друзьями всего прекрасного<sup>41</sup>. Несколько критических статей Г. Киреевского были напечатаны в “Московском вестнике” и обратили на себя внимание малого числа истинных ценителей дарования<sup>42</sup>. Вероятно, “Обзор” г. Киреевского сделает большее впечатление не потому, что

---

\* Продается у А. Ф. Смирдина. Цена 10 р.

мысли в нем зреее (что, впрочем, неоспоримо, несмотря на слишком систематическое умонаправление автора), но потому только, что некоторые из его мнений выражены резко и неожиданно. Г-н Киреевский, ставя успехи гражданственности выше славы воинских подвигов, в начале статьи своей признает издание нового Ценсурного устава<sup>43</sup> “важнейшим событием для блага России в течение многих лет и важнее наших блистательных побед за Дунаем и Араратом, важнее взятия Арзерума и той славной тени, которую бросили русские знамена на стены царьградские”. Он приписывает сему уставу уже заметное движение в текущей словесности прошедшего года. “Наши журналы заимствовали более из журналов иностранных; переводы, хотя по большей части дурные, передавали нам более следов умственной жизни наших соседей, и оттого вся литература наша неприметно приближалась более к жизни общеевропейской. Самые перебранки наших журналов, их неприличные критики, их дикий тон, их странные личности, их вежливости *не городские* — все это было похоже на нестройные движения распеленатого ребенка: движения, необходимые для развития силы, для будущей красоты и здоровья”.

Сначала, рассматривая характер словесности XIX столетия, г. Киреевский говорит о тех писателях, кои, по его мнению, определили дух нашей литературы; но прежде посвящает красноречивую страницу памяти того, “кто подвинул на полвека образованность нашего народа, кто всю жизнь употребил во благо отечества”, кому и сам Карамзин обязан, может быть, своею первою образованностию. “Он умер недавно (говорит г. Киреевский), почти всеми забытый, близ той Москвы, которая была свидетельницею и средоточием его

блестящей деятельности. Имя его едва известно теперь большей части наших современников, и если бы Карамзин не говорил об нем, то, может быть, многие, читая эту статью, в первый раз слышали бы о делах Новикова<sup>44</sup> и его товарищей и усомнились бы в достоверности столь близких к нам событий. Память об нем почти исчезла; участники его трудов разошлись, утонули в темных заботах частной деятельности; многих уже нет; но дело, ими совершенное, осталось: оно живет, оно приносит плоды и ждет благодарности потомства”.

“Новиков не распространил, а создал у нас любовь к наукам и охоту к чтению. Прежде него, по свидетельству Карамзина, были в Москве две книжные лавки, продававшие ежегодно на 10 тысяч рублей; через несколько лет их было уже 20, и книг продавалось на 200 000. Кроме того, Новиков завел книжные лавки в других и в самых отдаленных городах России; распускал почти даром те сочинения, которые почитал особенно важными; заставлял переводить книги полезные, повсюду распространял участников своей деятельности, и скоро не только вся Европейская Россия, но и Сибирь начала читать. Тогда отечество наше было, хотя ненадолго, свидетелем события, почти единственного в летописях нашего просвещения: рождения *общего мнения*”.

Признав филантропическое влияние Карамзина за характер первой эпохи литературы XIX столетия, идеализм Жуковского за средоточие второй и Пушкина, поэта действительности, за представителя третьей, автор приступает к обзору словесности прошлого года.

“XII том “Истории Российского государства”<sup>45</sup>, последний плод трудов великих, последний подвиг жизни полезной, священной для каждого русского, кажется, еще

превзошел силою красноречия, обширностью объема, верностью изображений, ясностью, стройностью картин и этим ровным блеском, этою чистотою, твердостью бриллиантовою карамзинского слога. Вообще достоинство его истории растет вместе с жизнью протекших времен. Чем ближе к настоящему, тем полнее раскрывается перед нами судьба нашего отечества; чем сложнее картина событий, тем она стройнее отражается в зеркале его воображения, в этой чистой совести нашего народа”.

В число исторических сочинений г. Киреевский включает и поэму “Полтаву”.

116

“В самом деле,— говорит он,— из двадцати критик, вышедших на эту поэму, более половины рассуждало о том, действительно ли согласны с историей описанные в ней лица и происшествия.— Критики не могли сделать большей похвалы Пушкину”. Признавая в сей поэме большую зрелость таланта, он осуждает в ней недостаток единства интереса, *“единственного из всех единств, коего несоблюдение не прощается законами либеральной поэтики”*. Этим изъясняет он малый успех, который имела последняя и едва ли не лучшая из поэм А. Пушкина.

“Жуковский,— продолжает автор,— напечатал в прошедшем году свое “Море”, “Песнь победителей” из Шиллера и связанные отрывки из “Илиады”. Здесь в первый раз увидели мы в Гомере такое качество, которого не находили в других переводах: что у других напыщенно и низко, то здесь просто и благородно; что у

других бездушно и вяло, здесь сильно, мужественно и трогательно; здесь все тепло, все возвышенно, каждое слово от души. Может быть, это-то и ошибка, если прекрасное может быть ошибкою”.— Автор имел в виду Кострова; в прошлом году мы не гордились еще “Илиадою” Гнедича.

“Море” Жуковского живо напоминает всю прежнюю его поэзию. Те же звуки, то же чувство, та же особенность, та же прелесть. Кажется, все струны его прежней лиры отозвались здесь в одном душевном звуке. Есть, однако, отличие: то-то больше задумчивое, нежели в прежней его поэзии”.

Из молодых поэтов немецкой школы г. Киреевский упоминает о Шевыреве, Хомякове и Тютчеве. Истинный талант двух первых неоспорим. Но Хомяков написал “Ермака”, и сия трагедия уже заслуживает особенной критической статьи.

Глубокое чувство умиления внушило молодому критику несколько трогательных строк. Он говорит о своем друге, *о лучшем из избранных*, о покойном Веневитинове.

“Веневитинов создан был действовать сильно на просвещение своего отечества, быть украшением его поэзии и, может быть, создателем его философии. Кто вдумается с любовью в сочинения Веневитинова (ибо одна любовь дает нам полное разумение); кто в этих разорванных отрывках найдет следы общего им происхождения, единственно одушевлявшего их существа; кто постигнет глубину его мыслей, связанных стройною жизнью души поэтической,— тот узнает философа, проникнутого откровением своего века; тот узнает поэта глубокого, самобытного, которого каждое чувство освещено мыслию, каждая мысль согрета

сердцем; которого мечта не украшается искусством, но сама собою рождается прекрасная; которого лучшая песнь есть собственное бытие, свободное развитие его полной, гармонической души. Ибо щедро природа наделила его своими дарами и их разнообразие согласила равновесием. Оттого все прекрасное было ему родное; оттого в познании самого себя находил он разрешение всех тайн искусства и в собственной душе прочел начертание высших законов и созерцал красоту создания. Оттого природа была ему доступною для ума и для сердца, он мог

В ее таинственную грудь,  
Как в сердце друга, заглянуть.

Созвучие ума и сердца было отличительным характером его духа, и самая фантазия его была более музыкою мыслей и чувств, нежели игрою воображения. Это доказывает, что он был рожден еще более для философии, нежели для поэзии. Прозаические сочинения его, которые печатаются и скоро выйдут в свет, еще подтвердят все сказанное нами”.

Тут критик сильно и остроумно доказывает

117

преимущественную пользу немецких философов на тех из наших писателей, которые, не отличаясь личным дарованием, тем яснее показывают достоинство чужого или приобретенного. “Здесь господствуют два рода литераторов: одни следуют направлению французскому, другие немецкому. Что встречаем мы в сочинениях первых? *Мыслей* мы не встречаем у них (ибо мысли, собственно французские, уже стары; след., не мысли, а

общие места: сами французы заимствуют их у немцев и англичан). Но мы находим у них *игру слов*, редко, весьма редко, и то случайно соединенную с остроумием, и *шутки*, почти всегда лишенные вкуса, часто лишенные всякого смысла. И может ли быть иначе? — Остроумие и вкус воспитываются только в кругу лучшего общества; а многие ли из наших писателей имеют счастье принадлежать к нему?

Напротив того, в произведениях литераторов, которые напитаны чтением немецких умствователей, почти всегда найдем что-нибудь достойное уважения, хотя тень мысли, хотя стремление к этой тени”.

В князе Вяземском г. Киреевский видит доказательство, что истинный талант блесит везде, во всяком направлении, под всяким влиянием. “Однако ж,— говорит автор,— и князь Вяземский, несмотря на все свои дарования, несмотря на то, что мы можем назвать его остроумнейшим из наших писателей, еще выше там, где, как в “Унынии”, голос сердца слышнее ума”.

Автор не соглашается с мнением людей, утверждающих, что французское направление господствует также и в произведениях Баратынского. Он видит в нем поэта самобытного, *своеобразного*. “Чтобы дослышать все оттенки лиры Баратынского, надобно иметь и тоньше слух, и больше внимания, нежели для других поэтов. Чем более читаем его, тем более открываем в нем нового, не замеченного с первого взгляда,— верный признак поэзии, сомкнутой в собственном бытии, но доступной не для всякого. Даже в художественном отношении, многие ли способны оценить вполне достоинство его стихов, эту точность в выражениях и оборотах, эту мерность изящную, эту

благородную *щеголеватость*? — Но если бы идеал лучшего общества явился вдруг в какой-нибудь не известной нам столице, то в его избранном кругу не знали бы другого языка”.

Автор справедливо ставит “Эду”, одно из самых оригинальных произведений элегической поэзии, выше “Бального вечера”, поэмы более блестящей, но менее изящной, менее трогательной, менее вольно и глубоко вдохновенной <sup>46</sup>. Определяя характер поэзии барона Дельвига, критик говорит: “Всякое подражание по системе должно быть холодно и бездушно. Только подражание из любви может быть поэтическим и даже творческим. Но в последнем случае можем ли мы совершенно забыть самих себя? и не оттого ли мы и любим образец наш, что находим в нем черты, соответствующие требованиям нашего духа?— Вот отчего новейшие всегда остаются новейшими во всех удачных подражаниях древним; скажу более: нет ни одного истинно изящного перевода древних классиков, где бы не легли следы такого состояния души, которого не знали наши праотцы по уму. Чувство религиозное, коим мы обязаны христианству; романическая любовь, подарок арабов и варваров; уныние, дитя севера и зависимости; всякого рода фанатизм, необходимый плод борьбы вековых неустойств Европы с порывами к улучшению; наконец перевес мысленности над чувствами, и оттуда стремление к единству и сосредоточению...” и пр.

Рассуждая о некоторых произведениях драматической музы нашей, автор с такою

веселостию изображает состояние сцены, что мы, не разделяя вполне его мнения, не можем, однако ж, не выписать сего оригинального места.

“Вообще наш театр представляет странное противоречие с самим собою: почти весь репертуар наших комедий состоит из подражаний французам, и, несмотря на то, именно те качества, которые отличают комедию французскую от всех других: вкус, приличие, остроумие, чистота языка и все, что принадлежит к необходимости хорошего общества,— все это совершенно чуждо нашему театру. Наша сцена, вместо того, чтобы быть зеркалом нашей жизни, служит увеличительным зеркалом для одних лакейских наших, далее которых не проникает наша комическая муза. В лакейской она *дома*, там ее и гостиная, и кабинет, и уборная; там проводит она весь день, когда не ездит на запятках делать визиты музам соседних государств, и чтобы русскую Талию изобразить похоже, надобно представить ее в ливрее и в сапогах.

Таков общий характер наших оригинальных комедий, еще не измененный немногими, редкими исключениями. Причина этого характера заключается отчасти в том, что от Фон-Визина до Грибоедова\* мы не имели ни одного истинного комического таланта, а известно, что необыкновенный человек, как необыкновенная мысль, всегда дают одностороннее направление уму; что перевес силы уравнивается только другою силою; что вред гения исправляется явлением другого, противодействующего.

Между тем можно бы заметить нашим комическим писателям, что они поступают нерасчетливо, избирая

---

\* Кажется, автор выразился ошибочно. Не хотел ли он сказать: *кроме Фон-Визина и Грибоедова?*

*такое* направление. За простым народом им не угнаться, и как ни низок язык их, как ни богаты неприличностями их удалые шутки, как ни грубы их фарсы, которым хохочет раек; но они никогда не достигнут до своего настоящего идеала, и все комедии их — любой извозчик убьет одним словом”.

Исчисляя переводы, явившиеся в течение 1829 года, автор замечает, что шесть иностранных поэтов разделяют преимущественно любовь наших литераторов: Гете, Шиллер, Шекспир, Байрон, Мур и Мицкевич.

Пропустив некоторые сочинения, более или менее замечательные, но не входящие в область чистой литературы, автор обращается к сочинениям в роде повествовательном. Прошлый год богат был оными, но “Иван Выжигин”, бесспорно, более всех достоин был внимания по своему чрезвычайному успеху. Два издания разошлись менее чем в один год; третье готовится. Г. Киреевский произносит ему строгий и резкий приговор\*, не изъясняя, однако ж, удовлетворительно невероятного успеха нравственно-сатирического романа г. Булгарина.

“Замечательно,— говорит г. Киреевский,— что в прошедшем году вышло около 100000 экземпляров азбуки русской, около 60 000 азбуки славянской, 60000 экз. катехизиса, около 15000 азбуки французской, и вообще учебные книги расходились в этом году почти целою третью более, нежели в прежнем. Вот что нам нужно, чего недостает нам, чего по справедливости требует публика”.

Спешим окончить сие слишком уже пространное изложение. Г. Киреевский, вкратце упомянув о

---

\* См. “Денница”, “Обозрение русской словесности”, стр. LXXIII.

журналах, о духе их полемики, об альманахах, о переводах некоторых известных сочинений,

119

заключает свою статью следующим печальным размышлением:

“Но если мы будем рассматривать нашу словесность в отношении к словесностям других государств, если просвещенный европеец, развернув перед нами все умственные сокровища своей страны, спросит нас: “Где литература ваша? Какими произведениями можете вы гордиться перед Европою?” — Что будем отвечать ему? —

Мы укажем ему на “Историю Российского государства”; мы представим ему несколько од Державина, несколько стихотворений Жуковского и Пушкина, несколько басен Крылова, несколько сцен из Фон-Визина и Грибоедова, и — где еще найдем мы произведение достоинства европейского?

Будем беспристрастны и сознаемся, что у нас еще нет полного отражения умственной жизни народа, у нас еще нет литературы. Но утешимся: у нас есть благо, залог всех других: у нас есть надежда и мысль о великом назначении нашего отечества!” —

Мы улыбнулись, прочитав сей меланхолический эпилог. Но заметим г-ну Киреевскому, что там, где двадцатитрехлетний критик мог написать столь занимательное, столь красноречивое “Обозрение словесности”, там есть словесность — и время зрелости оной уже недалеко.

120